



Н·С·ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

**Умершее сословие**  
(Рассказы кстати #7)

**Николай Лесков**  
**Умершее сословие**  
***(Из юношеских***  
***воспоминаний)***

В 1884 году было напечатано в газетах, что в Нижнем Новгороде один торговец и один чиновник, сидя в трактире, бранили местного губернатора Баранова. Полиция арестовала этих господ, но губернатор Баранов приказал их освободить и указал полиции впредь не обращать внимания на такие ничтожные вещи.

Этот случай, не заслуживающий, кажется, ничего другого, кроме сочувствия должностному лицу, которое так распорядилось, – вызвал, однако, у кривотолков осуждение.

– Во всяком случае (доводилось слышать) – это своего рода рисовка, гарун-аль-рашидство; все это только разводит дикие фантазии.

Во дни нашей юности мы тоже видали «дикие фантазии», но только в другом роде. Нижегородские «дикие фантазии» напоминают мне другой город и другой губернаторский характер, который считали типическим в прошлую, хотя и не очень отдаленную от нас пору. Кто любит вспоминать недалекую старину и сопоставлять ее с нынешним временем, для тех, может статься, это будет не ли-

шено интереса.

Во время моей юности, проходившей в Орле, там жил «на высылке» Афанасий Васильевич Маркович, впоследствии муж талантливой русской писательницы, известной под псевдонимом «Марко Вовчок».

Афанасий Васильевич в очень молодых годах был выслан в Орел из Киева по случившейся в Киеве «истории», которую тогда считали «политической» и называли «костомаровскою историей».

Маркович должен был жить в Орле и находиться под непосредственным наблюдением местного губернатора, а дабы наблюдение за ним было удобнее, Маркович был зачислен на службу в губернаторскую канцелярию. Тут он занимал должность делопроизводителя, или помощника правителя, – не помню уже теперь, по какому отделу.

Имущественные средства Марковича были не очень свободны – он нуждался в подспорье, которым ему и служило маленькое жалованье, присвоенное его канцелярской должности (помнится, что-то около двадцати

пяти рублей в месяц). Занятия службою Марковича не тяготили, но не могла его не тяготить подчиненность лицу, от которого он зависел.

Орловскою губернией во время ссылки Марковича правил не раз упоминавшийся в литературе князь Петр Иванович Трубецкой.

Уверяли, будто он был человек не злой, но невоспитанный и какой-то, – как его звали орловцы, – «невразумительный». Князь знал и понимал в делах очень мало, или, вернее сказать, – почти ничего, а правительственно-го искусства он не имел вовсе, но безмерно любил власть и страдал охотою вмешиваться во все.

Такая склонность побудила его, между прочим, вмешаться даже в дела церковного управления, что и было причиною возникновения много раз описанной непримиримой «войны» между ним и покойным орловским архиепископом Смарагдом Крыжановским, который ранее, по случаю болезни Павского, дал несколько уроков покойному государю Александру Николаевичу во время его детства. Поэтому Смарагд слыл в Орле «царским

законоучителем» и очень этим кичился. Вообще же он имел характер гордый и неуступчивый.

Его «война» с Трубецким есть своего рода орловская эпопея. Она не раз изображалась и в прозе, и в стихах, и даже в произведениях пластического искусства. (В Орле тогда были карикатуристы: майор Шульц и В. Черепов.) Интереснее истории этой «войны» в старом Орле, кажется, никогда ничего не происходило, и все, о чем ни доведется говорить из тогдашних орловских событий, непременно немножко соприкасается как-нибудь с этой «войной».

Я хочу рассказать об одном покушении князя Трубецкого вторгнуться в область истории и о том, кто его на это навел и кто его от этого отвел... Все это относится к тому же боевому времени.

Кто-то из охотников вмешиваться не в свое дело сообщил письмом князю Петру Ивановичу, что в Орловской гимназии происходят будто бы непозволительные вещи, — а именно — будто учитель истории (кажется) Вас. Ив. Фортунатов (тогда уже почтенный

старик) излагает ученикам «революционные эзерсисы», а почетный попечитель гимназии, флота капитан 2-го ранга Мордарий Васильевич Милюков (на дочери которого впоследствии был женат В. Якушкин), будто бы оказывает этому вредному делу потворство.

Наблюдатель, желающий оставаться сам в неизвестности, представлял в подкрепление своих слов доказательства, состоявшие в том, что подозреваемый им в неблагонадежности учитель истории, в присутствии попечителя Милюкова, разъяснял ученикам «о правах третьего сословия во Франции», а капитан 2-го ранга Милюков учителя не остановил и тем выразил ему как бы свое одобрение.

Можно было предполагать, что извет этот прислал князю кто-нибудь из родителей какого-нибудь воспитанника – человек, может быть, ничего не знавший в истории и имевший какой-то сумасшедший взгляд на позволительное и непозволительное в преподавании.

Более важного в доносе ничего не указывалось, но князь никогда не давал себе труда различать важное от неважного. Ему главное



было, чтобы имелся предлог «пошуметь». Это был в его время такой служебный термин. О начальниках, которых особенно хотели похвалить, всегда говорили: «Охотник пошуметь. Если к чему привяжется, и зашумит и изругает как нельзя хуже, а неприятности не сделает. Все одним шумом кончал».

Таких начальников одобряли: «брань на воротах не виснет».

Таков был отчасти и князь Петр Иванович, и так же поступил он и в том случае, о котором будем беседовать, вспоминая его славное время.

Князю Трубецкому письмо показалось вполне достаточным поводом для того, чтобы вмешаться не в свое дело и кому-нибудь «надерзить». (О нем так и говорили в Орле, что он «любит дерзить».)

Князь сейчас же призвал правителя или исправлявшего его должность и велел немедленно написать «хороший напругай и указание». Сноситься с попечителем, который тогда жил в Харькове, князю казалось излишним, – он хотел сам исправлять все непосредственно, – да и дело не терпело отлагатель-

ства.

Правитель канцелярии не мог возражать князю, а извернулся иначе. Он сослался на незнакомство с учебным делом и указал на Марковича как на человека «университетского», который должен все это хорошо знать и потому может написать и «напрягай указание».

Приказание сейчас же было передано Марковичу и поставило того в очень неприятное затруднение. Он не мог усмотреть решительно никакой вины со стороны учителя в том, что тот упоминал про «третье сословие», и не знал, какой и за что давать напрягай. А потому он явился к князю и осмелился ему доложить, что это не губернаторское дело, а дело попечителя учебного округа, а притом, что учитель имел основание упоминать о «третьем сословии», так как это, очевидно, не что иное, как *tiers-état*, то есть сословие граждан и крестьян, составлявшее в феодальные времена во Франции часть генеральных штатов (*Etats généraux*) и существовавшее до революции рядом с аристократиею и с духовенством.

Князь рассердился, и хотя он обращался с

Марковичем всегда деликатнее, чем с другими, но тут и на него зашумел вовсю. Обрезать его не было никакой возможности, ибо он был ужаснейший крикун и ругатель.

Вообще как гражданский правитель Трубецкой походил, пожалуй, на Альберта Брoльи, о котором Реклю говорит, что «по мере того, как он приходил в волнение, он начинал пыхтеть, свистать, харкать, кричать и трещать, гнев его походил на гнев восточного евнуха, который не знает, чем излить досаду». Но Трубецкой имел еще перевес перед Брoльи, потому что знал такие слова, которых Брoльи, конечно, не знал, да, без сомнения, и не посмел бы употребить с французами.

Таким Трубецкой явился и на сей раз. Он ничего не желал слушать и настойчиво велел как можно скорее написать «напрягай» и подать его к подписи.

Он был очень скор и любил действовать по-военному.

Маркович дерзнул только спросить, как он прикажет вперед называть людей третьего сословия?

– Называть их так, в каких он нынче чинах.

– Они все уже умерли.

– А это еще лучше: если они умерли, то пусть учитель и говорит о правах «умершего сословия».

Приходилось писать об умершем сословии и напрямик Милюкову и наставление учителю, а также и сообщение окружному учебному начальству.

Но что человек предполагает, то бог располагает.

Представлять резоны князю Трубецкому было невозможно, тем более что и те краткие замечания, которые осмелился представить ему Маркович, уже привели легко возбуждающуюся натуру губернатора в кипячение. Князь в таких случаях не переносил даже себя самого и нетерпеливо рвался на воздух. Ему надо было выгуляться и выпустить из себя неукротимый жар.

В губернаторском доме все это знали, и чуть князь начинал шуметь, сейчас же готовили для него лошадей «на выскочку». Так в городе и говорили: «вот князь едет на выскочку».

ку» – и все по возможности прятались, чтобы не попадаться ему на глаза.

И теперь он тоже резко встал из-за стола, порывисто отбросил ногою прочь свое кресло и велел как можно скорее подать открытую пролетку. Он очень спешил на кого-нибудь покричать на вольном воздухе, потому что в таких случаях он любил кричать громко, во все свое удовольствие, но дома, при княгине, он не всегда смел доставить себе такое удовольствие.[1]

Чиновник ушел, а князь поехал по городу, чтобы как-нибудь перетерпеть, пока ему изготовят и подадут подписывать «напрягай»; а тем временем, по усмотрению судеб, мысли его получили другое направление, и напрягай оказался совсем ненужным.

У князя Петра Ивановича в Орле был знаменитый кучер. Он разве малым чем-нибудь уступал оставившему по себе в Москве историческую память кучеру обер-полицеймейстера Беринга. Орловский наездник был так же утробист, так же горласт и краснорож, имел такие же выпяченные рачьи глаза и так же неистово хрипло орал и очертя голову нес-

ся на всех встречных и поперечных, ни за что не ожидая, пока те успеют очистить ему дорогу. На душе этого христианина, говорят, считалось уже несколько смертных грехов, и во всяком случае он по справедливости мог почитаться в свое время очень опасным человеком в городе.

Лихая езда как на пожар тогда была, впрочем, в моде у многих больших лиц, и это почиталось даже необходимым признаком «твердой власти». Особенно быстро ездили губернаторы и полицеймейстеры: они всюду скакали, и кучера их всегда особенно кричали. Это придавало городам оживление.

Князь Трубецкой по преимуществу любил такого рода всенародную помпу, и горожанам она нравилась. Все видели, что губернатор едет как губернатор, а не трюх-трюх, как ездил тогда в Орле приснопамятный инспектор гимназии Азбукин.

А ездил князь большею частью по-русски, то есть парой, с пристяжкой – рысак в корне и залихватский в кольцо изогнувшийся скакун в пристяжке.

Летит, бывало, как вихорь, кони мчатся,

подковы лязгают о широкие камни отвратительной орловской мостовой, кучер выпрет глаза и орет, как будто его снизу огнем жарит, а князь сидит руки в боки, во все стороны поворачивает свое маленькое незначительное лицо, которому не даровано было от природы никакого величия, но, однако, дозволено было производить некоторый испуг. Для этого князю стоило только поднять к носу стоячие усы и пустить в ход свое прискорбное сквернословие. Рот у него тогда становился черный и круглый, как у сжатого за жабры окуня, а из-под усов рвались и текли эти звуки, которые по справедливости требовали увещаний по тексту известного поучения, приписываемого Иоанну Златоусту.

Прибавьте к этому, что человек, о котором говорим, по верному местному определению, был «невразумителен», груб и самовластен, – и тогда вам станет понятно, что он мог внушать и ужас и желание избегать всякой с ним встречи. Но простой народ с удовольствием любил глядеть, когда «ён садит». Мужики, побывавшие в Орле и имевшие счастье видеть ехавшего князя, бывало, долго рассказывают:

– И-и-их, как ён садит! Ажио быдто весь город тарахтит!

Особенно сильное впечатление производило, когда князь поворачивал на углу из одной улицы в другую. Тут его кони, экипаж, кучер и сам он неслись, совсем накренысь, и на поворотах летели в наклонном положении, пока опять выравнивались и, приняв прямое положение, мчались еще быстрее. Это никогда не обещало благополучия ни пешему, ни конному, кто бы тут ни подвернулся.

Так Трубецкой понесся и теперь, раздраженный почтительными представлениями Марковича о третьем сословии во Франции.

Губернатор ехал от себя с горы по Волховской улице вниз. Он имел, вероятно, намерение пронестись мимо окон гимназии, чтобы там его увидали и заранее уже содрогнулись.

Он благополучно обскакал «дом дворянства» и без всякого для себя вреда повернул вниз за угол, но здесь случилось с ним несчастье: кони его сшибли с ног одного приказного. Тот, однако, с божиею помощью встал и выпутался из своей разодранной шинелишки и даже старался успокоить начальство, что



его приказной спине не больно. Но князь еще больше осердился и обругал подьячего за неловкость, – а затем вдруг встретил новый, еще больший беспорядок.

В то время, как князь подъехал к Введенскому девичьему монастырю (нынче, кажется, простая приходская церковь), ему, против магазина тогдашнего великосветского портного Жильберта, попался навстречу местный купец П. Купец был старик и плохо видел, а притом он ехал в маленькой беговой купеческой тележке и сам правил дорогим кровным рысаком.

Купец этот был большой храмоздатель и с этой стороны был известен архиерею Смарагду, а кроме того, он был охотник до лошадей и с этой стороны был известен князю, у которого не было ни одной такой хорошей лошади, какою правил теперь купец. Это уже само по себе было непорядок.

Ехал купец шагом, чинно и степенно, что называется «в свое удовольствие», а рядом с ним, под левым локтем, помещался мальчик лет четырнадцати, его фаворит-внучек; но, встретясь с губернатором, купец ни сам не

снял картуза, ни поучил этому внука. Это уже было совсем непозволительно.

Всего вероятнее, что купец, правя горячею лошадию, не успел снять перед князем Петром Ивановичем свой картуз, а о внуке не вспомнил. Но князь не любил входить в такие мелочи. Он видел в этом один оскорбительный для него факт. Он заколотился руками и ногами и поднял такой шум и крик, что купец оробел и бросил вожжи. Лошадь рванула и понесла, выбросив старика у дверей Жильберта, а внука у столбов Георгиевской церкви.

Мальчик, более легкий телом, отделался счастливо, а грузный старик очень расшибся. Старый француз Жильберт имел столько независимости, что поднял его и посадил у себя на крылечке – и тем, может быть, вызвал на мягкость самого князя.

Трубецкой велел посадить старика на извозчика и отправить его на гауптвахту, где того и продержали, пока князь успокоился, а он в это время все ждал, не станет ли заступаться за купца Смарагд, и за этою новою заботою позабыл о полученном им извете на-

счет третьего сословия. Маркович же слукавил и не напоминал ему о его намерении вмешаться не в свое дело. Так опасность от вредного направления в гимназии миновала, и губернаторское распоряжение именовать tiers-йtat «умершим сословием» не получило дальнейшего хода. За все французское tiers-йtat в Орле оттерпелся один купец, едва умевший выводить каракулями «церикофнии старта».

В Трубецком была прелестна и достойна самого любовного наблюдения искренность его губернаторского величия: он его словно нес с собою повсеместно, как бы некий алавастр мирры, с постоянною заботливостью, чтобы кто-нибудь не подтолкнул его под локоть, чтобы сосуд не колыхнулся и не расплескалось бы его содержимое. Это был «губернатор со всех сторон»; такой губернатор, какие теперь перевелись за «неблагоприятными обстоятельствами». Но в то время, к которому относятся мои воспоминания, в числе современников Трубецкого было несколько таких губернаторов, которых не позабудет история. Над ними над всеми яркой звездой си-

ял Александр Алексеевич Панчулидзе в Пензе, на которого дерзкою рукою «навел следствие» немножко известный в литературе своими «стансами» Евфим Федорович Зарин («Библиотека для чтения» – «стансы Зарина» и т. д.). Печатной гласности тогда у нас и в заведении еще не было, а функции ее исполняла «молва»: «земля слухом полнилась». Между Орловскою губерниею, где процветал князь Трубецкой, и Пензенскою, которая была осчастливлена переводом туда из Саратова А. А. Панчулидзева, находится Тамбовская губерния, сродная Орловской по особенной чистоте плутовских типов. (Ни в той, ни в Другой даже «жид долго не мог привиться» – потому что «свои были жида ядовитее».) Через Тамбовскую губернию орловцы с пензяками перекликались: пензяки хвалились орловцам, а орловцы пензякам – какие молодецкие у них водворились правители. «Наш жесток». – «А наш еще жестче». – «Наш ругается на всякие манеры». – «А наш даже из своих рук не спускает». Так друг друга и превосходили. Но пришло какое-то изменчивое время, и Смарагд с предводителем как-то «подвели»

Трубецкому какую-то хитрую механику. Почувствовалась надобность «убрать его в сенаторы». Убрали. Он уехал начисто, так что после его отъезда в губернаторском доме не нашли даже некоторых паркетов. В Пензе между тем А. Панчулидзеv продолжал процветать. Предводитель А. А. Арапов был ему друг и брат по «заводчеству» (оба были «винокуры и бедокуры»), а Е. Зарин еще был в юности, и сразительный яд еще не созрел под его семинарским языком. Приставленный к сенату, Трубецкой был и польщен и в то же время обижен: в сенате его решительно никто не боялся, да и на стогнах столицы он совсем не производил никакого внушающего впечатления. При появлении его самые обыкновенные люди так же шли и ехали, как будто его и нет, – и «не ломали шапок» и не уступали дороги, между тем как это столько лет кряду согревало и вдохновляло князя... Он заскучал в столице о добрых и простых нравах провинции и поехал летом прокатиться – навестить свои и витгенштейновские родовые маетности. Орел он «промигнул мимо»... Не в гостинице же ему было тут останавливаться и слу-

шать, как «другой» правит!.. Но в Киеве он остановился для советов с врачами и ради каких-то духовных потребностей княгини, которой тоже были свойственны и религиозные порывы. Остановились они incognito,[2] в молитвенном смирении, не в гостинице «Англетер», а у самого православного купца Ивантия Михайловича Батухина, и вечером, когда все кошки становятся серы, князь отправлялся подышать чистым воздухом. Дело это было по осени. На дворе, после погожего дня, проморосил дождичек и смочил киевские кирпичные тротуары, – гуляющих было мало, и князь мог «растопыриться». Это было самое любимое его устройство своей фигуры, когда ему надо было идти, а не ехать. Он брал руки «в боки», или «фертом», отчего капишон и полы его военного плаща растопыривались и занимали столько широты, что на его месте могли бы пройти три человека: всякому видно, что идет губернатор. (Сенаторства князь не ровнял с губернаторством и любил быть вечно губернатором.)

Так шел он и теперь по лучшей улице Киева, Крещатику, от «Англетера» к Александров-

скому спуску, и вдруг на самом углу Институтской горы с ним случилось странное, но в то же время досадительное происшествие.

В Киеве был тогда гражданским губернатором знаменитый в своем роде богач и добрый, кроткий человек Иван Иванович Фундуклей, иждивением которого сделано много прекрасных описательных изданий. Он был одинокий, довольно скучный человек, тучного телосложения и страдал неизлечимыми и отвратительными лишаями. Его лечили многие медицинские знаменитости и не вылечили: лишай немножко успокаивался, но потом опять разыгрывался – пузырились, пухли, чесались и не давали богачу нигде ни малейшего покоя. Тогда потаенно был призван который-то из известных в свое время киевских самоучек – не то Потапенко, не то Корней (Столпчевский) – и стал лечить расчесавшегося вельможу «травкою и *выпотнением*». Травки шли больше «для успокоения больного», но главное, на что рассчитывал знахарь, – это было «выпотнение», столь известное по своим последствиям ветеринарам и спортсменам. Лошадям для этого покрывают подде-

жащую выпотнению часть тела войлочным потником и гоняют их на корде, а для Фундуклея было устроено так, что он покрывал стеганым набрюшником пораженное лишаем место, надевал на себя длинное ватное пальто, сшитое «английским сюртуком», брал зонтик и шел гулять с своею любимую пегою левреткою. Таким образом производилось «выпотнение», и производилось оно в течение довольно долгого времени неотложно и аккуратно при всякой погоде. А так как губернаторам в то время днем среди толпы гулять было неудобно, потому что все будут кланяться и надо будет откланиваться, а Фундуклей был человек застенчивый и скромный, то он делал свою гигиеническую прогулку через час после обеда, вечером, когда – думалось ему – его не всякий узнает, для чего он еще тщательно закрывался зонтиком.

Разумеется, все эти старания скромного губернатора не вполне достигали того, чего он желал: киевляне узнавали Фундуклея и, по любви к этому тихому человеку, давали ему честь и место. Образованные люди, заметив его большую фигуру, закрытую зонтиком, го-



ворили: «Вот идет прекрасная *испанка*», а простолюдины поверяли по нем время, сказывая: «Седьмой час—вон уже дьяк с горы спускается».

«Дьяком» называли Фундуклея потому, что в своем длинном английском ватошнике он очень напоминал известную киевлянам фигуру златоустовского дьячка «Котина», который в таком же длинном ватошнике сидел на скамеечке с тарелочкою и кропильницей у деревянной церкви Иоанна Златоуста и «переймал богомулов», уговаривая их «не ходить на Подол до братчиков, бо они дуже учени и переучени, а класти упрост жертву Ивану». Издали дьяк Котин и губернатор Фундуклей в английском капоте имели по фигуре много сходства.

Чтобы выпотнение шло сильнее, губернатор делал свои вечерние прогулки не по ровной местности, в верхней плоскости города, где стоит губернаторский дом на «Липках», а, спускаясь вниз по Институтской горе, шел Крещатиком и потом опять поднимался в Липки, по крутой Лютеранской горе, где присаживался для кратковременного отдыха на

лавочке у дома портного Червяковского, а потом, отдохнув, шел домой.

Такой курс держал он и в тот теплый и темноватый вечер, когда шел случившийся проездом в Киеве князь Петр Иванович Трубецкой.

Фундуклей шел, понутив голову и закрывая лицо распущенным без надобности зонтиком, а Трубецкой «пер» своей гордой растопыркой, задрав лицо кверху. Они столкнулись. Трубецкой получил легкое прикосновение к локтю, но сам вышиб этим локтем у Фундуклея зонтик и шнурок, на котором шла собачка.

Грузный Иван Иванович ничего не сказал и стал делать очень тяжелое для него усилие, чтобы поймать и поднять покотившийся зонтик, а в это время от него побежала его собачка, шнурок которой ему было еще труднее схватить, чем зонтик.

Трубецкой же рассердился, затоптал и закричал:

- Знаешь ли, кто я? знаешь ли, кто я?
- Не знаю, – отвечал Фундуклей.
- Я губернатор!

– Ну так что же делать, – рассеянно произнес Иван Иванович, – я и сам тоже губернатор!

В это время на небе блеснула луна, и случившийся на улице квартальный, узнав Фундуклея, поймал и подвел к нему на шнурке его собачку.

Тут Трубецкой воочию убедился, что перед ним в самом деле, должно быть, губернатор, и поспешил возвратиться в свою гостиницу в гневе и досаде, которые и излил перед покойным медицинским профессором Алекс. Павл. Матвеевым. Акушер Матвеев происходил из дворян Орловской губернии и имел родных, знакомых Трубецкому, вследствие чего и был приглашен для бесплатного медицинского совета. Ему Трубецкой рассказал свою «неприятную встречу», а тот по нескромности развез ее во всю свою акушерскую практику.

Теперь все эти лица уже сами составляют «умершее сословие»; но когда случится вспомнить о их времени, то даже как будто не верится, что все это было в действительности и притом еще сравнительно так недавно.

*Впервые опубликовано – «Книжки неде-*

ли», 1888.

# Примечания

Супруга князя Петра Ивановича Трубецкого, рожденная Витгенштейн, была сама очень грозного характера и любила властвовать без раздела. Ее гневность и силу знали не только в городе, но и на почтовых станциях, где ее боялись все ямщики... Необыкновенное воспитание этой знатной дамы составляло для всех неразъяснимую загадку. – (Прим. Лескова.).

[^^^]

## 2

под чужим именем – (*франц.*).

[^^^]